

«Человек-машина»: путь от порядка к хаосу

Имморальный рассудок живого автомата

Петр Верховенский, хладнокровный циник, легко переступающий через любые моральные преграды, являет собой особый тип преступника, к которому приложима философская метафора «человек-машина».

Во Франции в 1748 году вышла книга Ламетри под таким названием. Ее автор изобразил человека как самозаводящуюся, перпендикулярно передвигающуюся машину. В представлении Ламетри человеческое существо, будучи прямым подобием часов или клавесина, вместе с тем подчинено естественной необходимости. Но обладая инстинктами, чувствами, страстями, оно лишено души. Ламетри полагал, что душа — это термин, лишенный какого бы то ни было существенного содержания.

Мир, в котором пребывает «человек-машина», антропоцентричен. В нем нет места Богу. Действительность устроена в соответствии с принципами ньютоновской механики, и мир представляет собой механический конгломерат бездушных элементов. Природными и социальными процессами движут одни и те же механические силы.

Философия машинной рациональности складывается как своеобразный итог эволюции классического рационализма. Элиминирование всех метафизических компонентов содержания готовит почву как для пришествия позитивизма, так и для реализации планов построения будущего строго рационализованного общества с исчисляемыми

параметрами и полностью подконтрольной управляющей воле. «Человек-машина» и «государство-машина», нуждающиеся друг в друге, возникнут как нечто напоминающее целевые причины Аристотеля, и будут прямо и исподволь детерминировать развертывание позитивистской антропосоциологической схематики

В соответствии с механистической картиной мира всегда существует угроза намеренных деформаций в структурах миропорядка. Объективно существуют возможности нарушения меры и гармонии, разрушения порядка и воцарения хаоса. Убийца может реализовать объективную возможность смерти, существующую для жертвы. Вор, грабитель способны реализовать объективную возможность перемещения материальных ценностей в социальном пространстве из одних рук в другие и т.д. То есть человеку стоит лишь приложить некоторые усилия, чтобы возможность распада существующих структур перешла в действительность. Порой для этого достаточно сугубо механических усилий. Более того, чем выше степень механистичности подобных предприятий, чем меньше в них замешаны духовные, этические, религиозные и им подобные компоненты, тем результативнее оказываются деструктивные действия.

У Достоевского философа «человека-машины» применима прежде всего к тем героям, которые представляют собой дельцов-практиков, смахивающих на деловых людей западного образца, т. е. к таким, как Лужин, Ракитин, Епанчин, Тоцкий, Фердыщенко и им подобным. Равнодушные к высшей метафизической реальности они придерживаются «женевских идей» Руссо, допускающих возможность «добродетели без Христа». Погруженные в суету безблагодатного, прозаически-прагматического существования, они, «имея уши, не слышат, имея глаза, не видят».

Все, что нисходит свыше, из сфер метафизической реальности, не достигает их душ, поэтому они погружены в тьму неведения, непонимания важнейших жизненных смыслов. Мысли и чувства этих «бернардов» носят приземленный характер и не устремлены к запредельному. Они не любят отвлеченных рассуждений, считая их праздным занятием. Для них, как и для Ламетри, Бог и душа — мнимые нравственные величины. Весь мир для них пребывает в «разволшебствованном» состоянии гигантского конгломерата бездушных начал. Ни в одном из них не светится Божья искра. Все эти люди — духовно оскудевшие живые автоматы, хотя и заведенные таинственной рукой, но, как сказал бы о них Л. Шестов, не сознающие, что их жизнь — это не жизнь, а смерть.

Изображая их, Достоевский излагает свою критику отнюдь не «чистого», а вполне «грязного», имморального разума, а точнее, пошлого, низменного «эвклидовского» рассудка, глухого к метафизике нравственных абсолютов, видящего в душе «один только пар», руководствующегося одним холодным расчетом и рассматривающего весь мир как набор средств, для достижения своих плоских целей.

Среди тиражированных Достоевским образчиков «человека-машины» Петр Верховенский представляет собой наиболее одиозный экземпляр. Он расчетлив, беспощаден и готов ради достижения поставленной цели пойти на все и до конца, не останавливаясь перед самыми гнусными подлостями и преступлениями

Криминальная реальность, внутри которой существует истинное «я» Верховенского, отличается такими признаками, как, во-первых, жесткая отстраненность от других ценностных миров и прежде всего от мира высших религиозных, нравственных и естественно-правовых абсолютов. Во-вторых, ей присуща острая напряженность отно-

шений с официально-нормативной ценностной реальностью. И третья ее особенность — это слабая уязвимость, объясняющаяся тем, что она, при всей антагонистичности ее положения, стремится по-своему копировать структуры легальных социальных реалий. Подобно тому, как дьявол пародирует Бога, пытаясь подражать ему, криминальный мир стремится, при всей карикатурности его усилий, воспроизводить нормативно-ценностные стереотипы легитимного и сакрального миров, пытаясь обрести за счет этого дополнительную жизнестойкость.

Убийство Шатова в «Бесах» не случайно носит черты ритуального жертвоприношения. При этом оно имеет вид чудовищной пародии на древний ритуал: вместо торжественности священного обряда — грязная измененность всей сцены, вместо открытой официальности — трусливо прячущееся тайнодействие, вместо упования на благосклонность высших сил — ставка на темные начала зла, на спайку всех участников убийства пролитой кровью жертвы и круговым страхом друг перед другом.

Нормативное пространство криминально-политической ассоциации

Верховенский целеустремленно формирует замкнутое нормативно-ценностное пространство криминально-корпоративной «морали» с жесткими принципами самоорганизации и самосохранения. Он требует, чтобы отношение членов ассоциации к ее задачам и целям было предельно серьезным и не допускает ни скепсиса, ни самоиронии, ни критики. Нарушителей незамедлительно настигает кара. Применяемое насилие выполняет охранительную функцию, выступая средством сплочения и самозащиты этого искусственного мирка.

Кроме сходства в структуре и формах деятельности криминально-политических и сугубо уголовных организаций, между теми и другими имеются существенные различия. Так, если для криминальной группы ее конечные цели ограничиваются решением прежде всего корыстно-меркантильных задач, то цели криминально-политических ассоциаций выходят далеко за пределы меркантильных интересов и ориентированы на достижение политического господства, при котором члены ассоциации переходят в положение правящей элиты.

Если ассоциированные уголовники, как правило, не бросают сознательного вызова государству и государственному строю, а предпочитают иметь дело с отдельными гражданами, то криминально-политическая ассоциация дерзко идет на открытый антагонизм с государственной властью и ее институтами.

Если криминальная группировка представляет собой своеобразный образчик «вещи-для-себя» и не скрывает своего корпоративного эгоизма, то криминально-политическая ассоциация маскирует свои столь же низменные интересы «дымовой завесой» лжи о якобы волнующих ее интересах народа.

Последнее обстоятельство, отмечал Достоевский, позволило таким, как Верховенский, вербовать сторонников не только из среды малообразованных «недоразвитиков» и фанатиков с болезненной жадой интриг и власти, но и вовлекать молодых людей с хорошим сердцем, хотя и с «шатостью» в понятиях. Судьба последних оказывалась по-настоящему трагичной, поскольку мошенники, изучившие великодушную сторону человеческого сердца и умеющие играть на его струнах как на музыкальном инструменте, превращали, в конечном счете, этих юношей в преступников.

Достоевский сетовал на то, что современная молодежь не защищена против «бесовщины» зрелостью твердых убеждений и нравственной стойкостью. У многих материальные побуждения господствуют над высшей идеей, а настоящее образование заменено стереотипами нахального отрицания с чужого голоса, недовольством и нетерпением. В итоге «даже и честный и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцев... разумеется, опять-таки, если попадет на Нечаева...» (21, 133). Перед такими мальчиками нечаевы-верховенские расписывают уголовные преступления как политические подвиги.

Роковым превращениям, совершившимся в душах многих «русских мальчиков», способствовало и само «смутное время», понуждавшее российскую цивилизацию вначале медленно, а затем все быстрее скользить по наклонной плоскости, ведущей от порядка к хаосу. «В моем романе “Бесы”, — писал Достоевский, — я попытался изобразить те многообразные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого чудовищного злодеяния. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более, чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти, в самом деле, быть не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!» (21, 131).

«Машинная» рациональность политической программы

Верховенский, обладая сильной, стремящейся к власти механической волей, нашел соответствующую своей натуре, столь же «машинообразную» политическую программу. Основные ее положения сводятся к следующим пунктам:

– необходим новый тип государства с преобладанием тоталитарных форм управления;

– это государство должно будет держать подданных в постоянном страхе, неустанно, «каждый час и каждую минуту» ведя слежку за всеми;

– поскольку гении, таланты, яркие индивидуальности представляют своей неординарностью угрозу для власти «машинообразных» лидеров, все люди будут в своем развитии приводиться к среднему уровню посредством идеологического и полицейского террора, в ходе которого Цицеронам вырвут языки, Коперникам выколуют глаза, Шекспиров побьют камнями и т.д.;

– чтобы придти к осуществлению этой программы, необходимо начать с тотального разрушения всего и вся, совершить на практике переход от порядка к хаосу.

В этой криминально-политической программе соединились два вектора — «машинная» рациональность бездушных негодяев с бесовской иррациональностью обезумевших маньяков.

Один из наиболее впечатляющих парадоксов личности Верховенского — это как раз удивительное сочетание «машинообразности» с маниакальностью деструктивного энтузиазма. Оно придает фигуре политического злодея особо зловещий характер. При непосредственном участии этой бесчувственной «машины» по производству беспоряд-

ков события в романе обретают вид надвигающегося шквала, воцаряющегося хаоса, когда совершаются с десяток убийств и самоубийств, несколько сумасшествий и грандиозный пожар от поджога. В итоге мир, заключенный в текстовую оправу романа, начинает напоминать чудовищный bestiary с отсутствием любви и милосердия и с беспощадной борьбой всех против всех.

Один из источников этого ужаса Достоевский видел в проникающих с Запада философских умонастроениях рационалистического, материалистического и атеистического содержания. Учения Дарвина, Милля, Штрауса и других представителей европейской «прогрессивной» мысли, попадая на российскую почву, как правило, принимали в славянском сознании, не искушенном многовековой философской выучкой, вид несокрушимых аксиом. Более того, из них нередко делались практические выводы, о возможности которых и не подозревали западные учителя.

Разумеется, позитивное знание никого прямо не учило злодействам. И если Штраус, с нескрываемой иронией замечает Достоевский, отрицал и осмеивал Христа, то к человеку и человечеству он демонстрировал при этом самую искреннюю любовь и желал для них самого светлого будущего. «Но зато мне вот что кажется несомненным, — продолжает писатель, — дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново — то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем оно будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере, в высших представлениях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе» (21, 132–133).

Для Достоевского ценностно-ориентационная и практически-преобразовательная деятельность нравственного, правового и политического сознания должна опираться на принципы теоцентризма. Он распространяет дух Теодицеи на все, без исключения, сферы социальной и духовной жизни. Западное же философское, моральное и политико-правовое сознание по преимуществу антропоцентрично и, как правило, не приемлет ни религиозных, ни метафизических нормативно-ценностных оснований.

В этих основаниях не нуждается «человек-машина», обнаруживающий своими действиями, что у откровенного имморализма, уголовных преступлений и политического макиавеллизма одна и та же природа. Все они начинаются с отрицания высших начал бытия, абсолютных ценностей и норм.

Криминальная школа политического лицедейства

Характерно, что Верховенский, формирующий политическое сообщество, использует приемы и методы создания криминальных ассоциаций. Как лидер, сочетающий черты организатора и идеолога, он внушает своим единомышленникам идею исключительности стоящих перед ними задач. Одновременно он насаждает вокруг психологическую атмосферу тайны, которая необходима ему, чтобы до поры до времени скрывать свои истинные намерения от окружающих и тем самым избежать излишних препятствий на пути к власти. Отсюда необходимость иметь в распоряжении и постоянно менять различные социальные маски. Они позволяют ему изображать цивилизованного, законопослушного гражданина и сознавать себя при этом совершенно свободным от нравственно-правовых ограничений, расценивая их как «гнилые веревки».

Каждый член нелегальной политической организации, как и преступник, вынужден существовать одновременно в двух нормативно-ценностных измерениях. Его истинное «я» пребывает в пространстве политико-криминальных ориентаций и смыслов, а его «маска» фланирует внутри легальной нормативно-ценностной реальности. Эта раздвоенность создает скрытое поле внутренней напряженности. И чем больше субъективное расстояние между истинным «я» и прикрывающей его «маской», тем выше степень возникающей при этом театральности и таинственности.

Верховенский в качестве главного режиссера и ведущего актера в разыгрываемом им спектакле искусно руководит логикой развертывающихся событий, направляя их в нужное ему русло. Но в отличие от обычного спектакля, имеющего в самом себе свою художественно-эстетическую самоцель и самоценность, то представление, что разыгрывается Верховенским, имеет цели вне себя. Все лицедейство «Петруши» подчинено логике борьбы за будущую власть. Его большая игра — это борьба не только «за», но и «против», т. е. против тех, кто представляет и оберегает социальный порядок, защищает морально-правовую реальность. Поэтому его игра — это не спектакль-праздник, а спектакль-мистификация, где силы зла, облаченные в одежды благопристойности, заполняют социальное и духовное пространство вокруг себя тотальной ложью, чтобы в ее клубящемся мареве скрыть свою истинную личину с ее пугающе уродливыми гримасами.

Русская модель макиавеллизма

Многое из того, что делает и говорит Верховенский, заставляет вспомнить о Макиавелли и его трактате «Государь».

Как и Макиавелли, Верховенский в своих рассуждениях о политических проблемах обходится без этических и правовых категорий. Не только религиозно-этическая метафизика естественного права, но даже позитивно-правовая прагматика им обоим чужда.

Оба они убеждены в неискоренимости предрасположенности человека к злу. В их глазах зависть, гордыня, алчность, склонность к своеволию и другие пороки составляют неотъемлемое свойство человеческого существа.

У протагонистов «Государя» и «Бесов» довольно сложные отношения с нормативными сферами культуры — религией, нравственностью и правом. Евангелиевские заповеди, призывающие к созерцательности и смирению, отрицающие многие ценности мирских благ, для них неприемлемы. Прагматический ум политиков-практиков подсказывал тому и другому, что христианские принципы и свобода активных, энергичных действий в социально-политической сфере несовместимы. Люди, идущие к власти, только ослабят свою волю, если будут руководствоваться нормами, требующими человеколюбия. Однако Верховенский, в отличие от героя «Государя», демонстрирует забвение меры и обнаруживает не просто иррелигиозность, а предельный цинизм по отношению к религиозным святыням. Это видно из грабежа и осквернения церкви вместе с Федькой Каторжным.

Из иррелигиозности логично вытекает имморализм. Верховенский, подобно Макиавелли, считает, что есть такие области человеческой деятельности, где соблюдение каких-либо социокультурных норм обременительно и неоправдано. Это в первую очередь сфера социально-политической деятельности. Политический лидер с далеко идущими планами и ярко выраженными трансгрессивными амбициями, обладающий способностью вести искусные политические игры, должен уметь ради достижения своих

целей пользоваться всем арсеналом доступных ему средств как моральных, так и аморальных. Его не должна смущать необходимость использования лжи, интриг, коварства. Все это лишь средства, которые по своему ценностному статусу не идут ни в какое сравнение с ценностью поставленной цели. Достоевский рисует поразительную по силе сцену, в которой Верховенский использует самоубийство Кириллова в своих изменных целях.

Прямым следствием пренебрежительного отношения к христианской религии и к нормам нравственности стала рецептура правового нигилизма, предлагаемая Макиавелли политическим деятелям, стремящимся к обретению всей полноты власти. Политик, конечно же, может пользоваться законными, правовыми методами. Но для успешного достижения любой из поставленных целей у него непременно должен быть в запасе еще один способ действий, который Макиавелли называет насильственным, или «зверским». Сам же политик должен умело менять маски и попеременно играть требуемые обстоятельствами роли либо благонаправленного, дипломатичного стратега, либо жестокого, беспощадного тирана. Он должен сочетать качества лисы и льва, уметь притворяться благочестивым, чтобы успевать напасть первым. Тот, кто желает, чтобы ему повиновались, не должен бояться прослыть жестоким. Самое лучшее для него — это уметь, при необходимости, совершать все требуемые злодеяния разом.

Верховенский в полной мере реализует все эти рекомендации, обнаруживая и звериную хитрость, и звериную жестокость, демонстрируя как способности дипломата (в доме губернатора), так и свойства тирана (по отношению к членам «пятерки»).

При всем сходстве образа Государя с образом Верховенского, при наличии целого ряда точек соприкосновения

в их взглядах и позициях, между ними имеются чрезвычайно существенные расхождения. В первую очередь обращает на себя внимание различие в отношении авторов к своим креатурам. Макиавелли рисует образ своего героя если не с симпатией, то с весьма явным сочувствием. Он практически не использует по отношению к Государю оценочных суждений негативного характера.

Достоевский преподносит читателю Верховенского таким образом, что у того не остается никаких сомнений касательно его нравственной сущности. Если Макиавелли прощает Государю все, то Достоевский, а вслед за ним и читатель, не прощают Верховенскому ничего.

Во имя каких же целей Макиавелли прощает политическому лидеру его атеизм, имморализм и правовой нигилизм? Иногда на этот вопрос отвечают так: власть. Но это далеко не так. Власть для того не самоценность и не главная цель, а тоже всего лишь средство. Основной же целью для истинного политика-патриота являются, в глазах Макиавелли, социальный *порядок*, общественное благо и в первую очередь создание единого, централизованного государства, обладающего достаточной силой, чтобы преодолевать центробежные тенденции и внешние опасности. Не ради корыстных выгод самовластия, а во имя спасения гибнущей в пучине усобиц цивилизации Макиавелли готов простить все прегрешения против религии, нравственности и права тому, кто сумеет победить анархию и хаос.

Макиавелли — реалист, обладатель трезвого политического рассудка. Он ясно видит пороки людей, отчетливо сознает, что их способность к свободному волеизъявлению и необычайная, кипучая энергия употребляются очень часто во зло. Но если люди неисправимы, а их свобода, не признающая ни религиозных, ни нравственных, ни правовых ограничений, повсеместно переходит в своеволие и

приумножает зло, беды и страдания, то как быть с идеалами общественного блага? Неужели они недостижимы и обречены вечно пребывать в качестве благодушных и бессильных пожеланий? Неужели из этого тупика нет никакого выхода?

Напряженные и мучительные раздумья приводят Макиавелли к решению проблемы. Если человеческая природа неисправима, то это еще не значит, что агрессивная энергия людей должна быть предоставлена сама себе и предназначена творить одни лишь разрушения. Ей можно придать иную направленность. Ее следует устремить в позитивное русло созидания, утверждения твердого социального порядка. И образцом, примером подобного перераспределения естественной человеческой энергии и агрессивности должна стать в первую очередь личность крупного политического лидера. Он должен возглавить процесс закладки надежных основ цивилизованной государственности. Сам оставаясь таким же, как и все, т. е. способным скорее к злу, чем к добру, несущий в себе склонности к порокам и преступлениям, он, тем не менее, должен быть готов ради великой цели употреблять зло во благо. Если у него нет в распоряжении для достижения благих целей столь же благих средств или эти благие средства слишком слабы, неэффективны и практически бесполезны, то ему ничего не остается как действовать, используя то, что имеется под рукой: не брезгуя обманом, предательствами, насилием, преступлениями.

Верховенский не в состоянии прикрыться сенью великой благой цели, поскольку таковая у него попросту отсутствует. Шигалевский проект, демонстрирующий безмерность политического цинизма и чудовищную жестокость той государственной машины, которую мечтает создать Верховенский, не оставляет места для благодушных на-

дежд и иллюзий. Перед нами предстает своего рода анти-Макиавелли, т. е. деятель, для которого нет иной цели, кроме отрицания и разрушения. Поначалу это разрушение существующих политических институтов, а затем, после сооружения нового государственного монстра как орудия разрушения ценностей цивилизации и культуры, изничтожение всего человеческого в человеке, превращение его в запуганное, тупое, лишенное самосознания и чувства собственного достоинства стадное животное

Макиавелли — прагматик, а не моралист. Его логика реалистична и потому окрашена в мрачные тона. Он убежден в том, что бывают исторические моменты, когда необходимо во имя благой цели использовать все доступные средства, в том числе аморальные и противоправные. Зло необходимо использовать и применять ради того, чтобы избежать еще больших зол. То, что неприемлемо в обычных условиях ровно текущей, цивилизованной жизни и стабильного социального порядка, в критических условиях национального бедствия становится допустимым.

Морализирующая критика, упрекающая Макиавелли за его имморализм, как правило, не разграничивала этих реалий — стабильных эпох и эпох переходных, кризисных, катастрофических. То, что недопустимо в обычных условиях, для нее оставалось недопустимым и в условиях чрезвычайных. А между тем, понять и оправдать Макиавелли можно лишь в том случае, если квалифицировать его доктрину как апологию чрезвычайных средств в чрезвычайных обстоятельствах.

Другая крайность в оценке теории Макиавелли заключается в прямом, недвусмысленном оправдании практики применения неправовых, жестоких, насильственных чрезвычайных средств в нечрезвычайных социальных условиях. Именно эта практика получила название макиавеллиз-

ма. Она же бросила на наследие великого флорентийца сумрачную и трудноизгладимую тень, заставляющую потомков с опаской взирать на его доктрину.

Макиавелли и его Государя оправдывает то, что они хотели, чтобы общество перешло от хаоса к порядку. Для Верховенского на первом плане иная стратегическая цель — сделать все, чтобы общество и государство проделали противоположный путь, ввергнуть их в состояние хаоса. Герой «Государя», при всей противоречивости его фигуры, — это, конечно же, политик-созидатель. Главный герой «Бесов» — политик-разрушитель, деструктивная личность, совершенно не способная к созидательным акциям, к позитивной социальной деятельности.

В «Братьях Карамазовых», в сцене суда над Митей, звучит такая фраза: «У них Гамлеты, а у нас пока что Карамазовы». В продолжение ее можно добавить: «У них Макиавелли, а у нас пока что Верховенские». Культивируемое западной цивилизацией со времен древних греков чувство меры в данном случае оказалось в одной ряду с российской, карамазовской чертой, обнаруживающей себя как склонность к забвению меры. Во всех типовых политических ситуациях, требующих решительных практических действий, поступки героя Макиавелли целесообразны и не превышают меру необходимого политического цинизма. Что же касается политического цинизма Верховенского, то он безмерен, беспределен, тотален. Это заставляет говорить о «верховенщине» как политической «карамазовщине».

«Шигалевщина»: от аномии к дисномии

Политический путь, которым хотел бы проследовать Верховенский, это путь от *аномии* к *дисномии*. Если ано-

мия — это состояние, близкое к социальному хаосу, то дисномия представляет собой социальный «сверхпорядок», установленный при помощи методов деспотического, репрессивного правления. Дисномия предполагает особое состояние государственной машины, когда та становится из источника и защитника законов источником и проводником беззакония. Сближает эти два понятия то, что для обоих обозначаемых ими состояний характерно господство произвола, отсутствие социальных механизмов, способных защищать права и свободы граждан.

Дисномия может быть и очаговой и тотальной. Она способна поражать как локальные социальные структуры, так и общественную систему в целом, весь государственный организм. Очаги дисномии, кажущиеся, на первый взгляд, случайными флуктуациями, способны, если им не противодействовать с достаточной силой и регулярностью, разрастаться до невероятных масштабов и охватывать огромные социальные пространства.

Как известно, социальный порядок, несмотря на свой статус необходимого условия, обязательного для существования цивилизационных систем, несет в себе множество собственных проблем и может даже представлять, как это не парадоксально, угрозу для развития локальных цивилизаций и культур.

Процесс утверждения социального порядка имеет собственную логику. Это логика экспансии нормативных начал и тенденция распространения их дисциплинирующих воздействий на все большее социальное пространство. В подобном движении система может миновать рубежи целесообразности и меры как оптимальной степени собственной упорядоченности и устремиться в перспективу дальнейшего усугубления действенности нормирующих факторов. Именно такой оказалась логика развертывания проекта

Шигалева, который незаметно для себя перешел от апологии абсолютной свободы к апологии полного рабства.

Идеологической платформой для подобного перехода шигалевской мысли послужили представления о возможности абсолютного сверхпорядка. Они имеют свойство обретать вид веры во всемогущество организационных усилий регулятивно-репрессивного характера. На этой, говоря языком Вл. Соловьева, «идее низшего порядка» строится вся конструкция Шигалева. Утопически ориентированная мысль нацеливается при этом на задачу полной рационализации общественной жизни. Она обнаруживает вкус к мелочной регламентации всех, больших и малых, движений социального организма. И все это сопровождается размахистыми авторитарными жестами властей, не признающих препятствий и не терпящих возражений. При этом абстрактные нормативные схемы-идеологемы заслоняют живую действительность и кажутся более реальными, чем сама жизнь. Они подчиняют себе официальную и неофициальную жизнь, присутствуют в политике и науке, морали и праве, искусстве и педагогике. Они представляют собой жесткие нормативные структуры, не допускающие в свои внутренние смысловые и ценностные пределы ничего из того, что могло бы поколебать их устойчивость и стабильность охраняемого ими социального порядка. Все это позволяет государству-машине тиражировать в неограниченном количестве тип человека-машины, послушного исполнителя приказаний надличной воли.

В итоге в нормативно-ценностном континууме цивилизации возникает особая реальность с явной печатью дисномии, состоящая из подложных эрзац-форм, опасных своей ограниченностью и бездуховностью. Формируя жестко нормированную область духовной несвободы, населенную множествами Коперников с выколотыми глазами и Цице-

ронов с вырванными языками, эта реальность порождает эффект социального торможения.

Шигалев убежден в том, что практические усилия властей, устремленные в направлении тотальной регламентации всех сторон практической и духовной жизни народа и государства, должны иметь вид упорядочения социальных структур через беспредельное увеличение степени единообразия составляющих их элементов. На первый взгляд, эти усилия, казалось бы, призваны препятствовать возрастанию энтропии, приостанавливать угрожающий распад социальной системы. Но совершающееся при этом нарушение *меры* упорядоченности приводит к тому, что постепенно на месте животворных форм воцаряются мертвящие структуры. Негэнтропийная функция дисциплинарных усилий трансформируется в репрессивную. Вместо нарастания степени цивилизованности в социальной системе заявляет о себе эффект *ретардации*, т. е. торможения, задержки ее развития.

В погоне за абсолютным порядком обнаруживается, что последний не менее страшен, чем полный беспорядок. Он демонстрирует крайне малую степень жизнепорождающей способности. На алтарь тотального сверхпорядка приносятся непомерное количество жертв. В первую очередь ими оказываются свобода и достоинство личности, культура и цивилизованность, нравственность и право. Без них же социальное существование индивидов превращается в безрадостное, бесправное изживание отведенного им судьбой срока.

На поверку неправовой «сверхпорядок» Шигалева оказывается ничем иным, как *дисномией*, т. е. парадоксальным симбиозом упорядоченности и беззакония, химерическим соединением того, что в нормальных условиях несоединимо и потому имеет устрашающе-уродливый вид. Беззакон-

ние верховной власти задает исходные параметры требующейся дисциплинарности, в пределах которой граждане не имеют обязанности, но не обладают правами, знают, что необходимо, но не ведают вкуса истинной свободы. Таким образом, государство и его институты выступают не гарантами социального порядка, а устроителями его химерического подобия — жесткой, неправовой, бесчеловечной дисномии.

Отношения между «верховенщиной» и «шигалевщиной» — это связь между аномией и дисномией, между социальным хаосом и неправовым сверхпорядком, между первым и вторым этапом распространения «бесовщины».

Эпоха аномии — это историческое преддверие, кануны будущего воцарения тоталитарной дисномии, когда ее еще нет, но уже идет активный процесс закладки определенных социальных предпосылок, расчищается историческая арена для ее грядущего воцарения. Суть данного этапа в том, что начинается обусловленный пока еще скрытыми и неясными для общественного сознания причинами распад традиционных социокультурных структур — религиозных и воспитательных институтов, семейных связей и нравственных норм. Так заявляет о себе ситуация аномии, постепенно расширяющей пространство своего влияния. Распадаются практические и духовные «скрепы», связывавшие людей на протяжении веков в разномасштабные общности. Ослабевают и утрачивают свою нормативно-регулятивную силу правовые императивы. Непрерывно увеличивается число людей, выпадающих из поля их действия. И на протяжении всего романа «Бесы» экспансия аномии составляет содержательную доминанту, подчиняющую себе все, большие и малые, события.

Скандал как модель микрохаоса

Характерным проявлением аномии является скандал. Достоевский довольно часто использовал художественный потенциал этой социально-психологической модели *микрохаоса*. Это позволяло ему описывать то, как в обстановке малой, локальной аномии ослабевают и с неприличным шумом лопаются «гнилые веревки» официальных норм, как проступают страшные лики ночных душ участников скандала, как малый островок социального порядка оказывается вначале у опасной черты, на пороге распада, а затем и в состоянии деструкции всех коммуникативных структур и нормативных иерархий. То есть скандал предстает как разлом в самой сердцевине маленького, ясно очерченного, конкретного микрокосма человеческих отношений. В результате обнажается если не самое существенное, то, по крайней мере, самое сокровенное, что есть в людях и что они обычно прячут за нормативными декорациями, и что еще долго могло бы оставаться скрытым от чужих глаз.

В «Бесах» именно из серии скандалов, эксцентрических выходов, буйных истерик, таинственных убийств и самоубийств складывается атмосфера «сверхскандала», принявшего вид катаклизма, настигнувшего людей.

Приезд Верховенского и Ставрогина нарушил замкнутость и устойчивость традиционной системы. Обнаруживаются новые, пока еще тайные центры новых инициатив, которые становятся все активнее и агрессивнее. Они вампирически впитывают энергию из окружающей среды и рекрутируют из нее новых членов. Внутри системы возникает непривычная для нее неравновесность отношений. Власть начинает ускользать из рук официальных лиц. Хаос с микроуровня локальных скандалов прорывается на макроуровень, и начинается вакханалия распада структур со-

циального порядка. Люди, словно охваченные безумием и будто втянутые в засасывающую их воронку гигантского социального и вместе с тем метафизического скандала, начинают походить на массу тех сгрудившихся душ, что неслись у Данте в неумолимом вихре навстречу устрашающей неизвестности.

Социальная аномия заставляет людей выпадать, подобно птенцам из гнезд, из разваливающихся социокультурных структур, рвать духовно-нравственные связи с окружением. В результате они остаются без какого-либо внешнего, институционального прикрытия, лишаются ощущения психологической защищенности. Нежелание соблюдать нравственно-правовые нормы оставляет их и без внутренних гарантий от опасности расчеловечивания. В итоге они оказываются беззащитны как перед силами внешнего социального зла, так и перед злом, угрожающим им из глубин их собственной природы. Особенно ужасна в романе судьба Кириллова, оказавшегося совершенно беззащитным перед собственной ночной душой, которая буквально расстреливает незадачливого философа его же собственными руками.

В этом образе-парадигме просматривается нечто более значительное, нежели драма нелепого чудака, измыслившего самоубийственный тезис и не нашедшего в себе духовных сил, чтобы устоять перед искушением сокрушительной логики. В нем просвечивают колеблющиеся контуры судьбы целого государства и всего народа. В участи Кириллова, словно в капле воды, отразилась грядущая историческая судьба России. Ведь с ней произошло практически то же самое: ее ночная душа будто воспрянула от дремоты и потребовала жертвы. Она оттеснила рассудочно-охранительные доводы дневной души, осталась глуха к прозорливым и мудрым предостережениям религиозно-

нравственного и философского духа. И не нашлось такой силы, которая смогла бы уберечь Россию от саморастерзания, от участи Эдипа, не ведавшего, что творил. Ее ночная душа выбрала себе медиумов, через которых совершились все мыслимые и немыслимые преступления. Достоевский увидел «симфоническую личность» грядущего узурпатора и подробнейшим образом описал ее в своей многотомной художественной феноменологии криминального духа.

Катастрофа, которой угрожали России вошедшие в нее «бесы», «духи безбожия и своеволия», имела для Достоевского сложную ценностную окраску. В ней виделось и заслуженное возмездие за прошлые и настоящие грехи, и посланное судьбой испытание, и возможность духовного преображения в испепеляющем огне надвигающихся потрясений.